

«КОШКИ-МЫШКИ» ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА

ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ И ЖЕСТОКИЕ ДРАМЫ СПЛЕЛИСЬ
В СУДЬБЕ ПОЛУЗАБЫТОГО ПОЭТА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА



О

Одну жену он звал «мышкой», другую — «кошкой». Одну увел от друга, вторая — увела его. Но кем он сам был в этой вечной «охоте» — в любви? В этой игре в кошки-мышки? Участником? Жертвой? Палачом?..

И тем, думаю, и другим, и третьим. А если одним словом — был Поэтом.

Женский круг

«В семье очутился я... поскребышем, любимицем. Надо мною тряслись, меня баловали». Скажет: я «вырос в гинеее». Так в древней Греции звали «женские половинки», дальние комнаты, где от завидующих глаз мужа прятали своих красавиц. Он же имел в виду всего лишь окружение: маму, бабушку, няню, старших сестер. В женскую баню его, как Мандельштама, кажется, не водили. Но юбки, спицы, флаконы, помады дело свое сделали. Болтался «хвостиком» по магазинам, стал разбираться в нарядах, в моде и скоро сам превратился в записного щеголя. Однажды, когда в магазине отстал вдурот от матери, то не заплакал, а, огледевшись, выбрал самую нарядную и хорошенькую блондинку, «с которой не стыдно было пройти по улицам», и, шаркнув ножкой, приподняв шапочку, вежливо сказал: «Проводите меня домой, я потерялся...»

Женщины и будут всю жизнь как бы «проводить» его: нянчиться, баловать, заботиться. Вторая жена будет у него и за добытчицу (днем на работе), и за кухарку (вечером), и за медсестру (по ночам, когда он в самый голод умирает от фурункулеза). Жена третья, почти девочка, пока он писал по ночам, будет засыпать, прижав к груди его шткаму — заранее согреть ее для него.

А из-за первой его вызовут на дуэль.



Вызов Мариэтты

Учился на «ять», в гимназии шел на медаль. И не получил ее, вообразите, из-за «развращающего влияния на товарищей» — из-за «язычка» язвительного. Став студентом, на московские улицы выходил фрагтом, на прожигателем жизни». Балы, танцульки, картишки, вино. Воротнички носили «под самые уши», брюки зауживали, а тулья фуражек, напротив, раздували так, что они едва держались на головах великовозрастных балбесов. Фокус был в том, чтобы полицейские в сумерках принимали их за офицеров, отдавали бы им честь, а потом, разобравшись, плевались бы.

За всем этим стало не до университета, бросил после III курса. Но — отряхнулся, огля-



*1
Мариэтта Шагинян
(1888-1982).

*2
А. Головин. Марина
Рындина, в первом бра-
че Ходасевич, 1912 год.

*3
Дарственная надпись
поэта Марине
Ходасевич на книге
«Молодость».

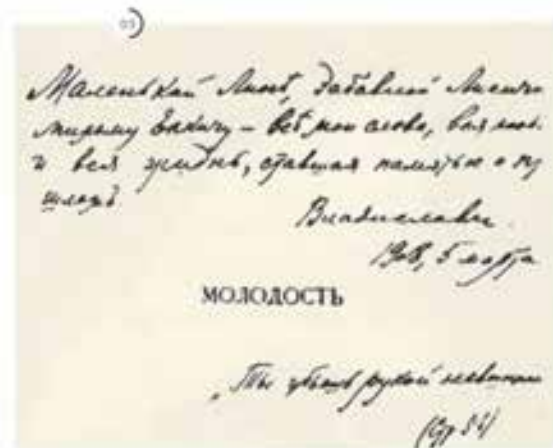
*4
Анна Чулкова (Нюта)
(1887-1964).

*5
«Счастливый домик».
1913 год.

*6
В. Милашевский.
Владислав Ходасевич,
Анна Ходасевич,
Гарик Гренцион,
Юрий Султанов.
1921 год.

делся, высмотрел вновь «самую нарядную» и, вообразите, женился. В 18 лет.

Женой стала красавица Марина Рындина. Дочь полковника, всегда в черном или белом платье, с золотой короной на голове, она выезжала на Кузнецкий, откинувшись в коляске на бархатные подушки. «Незнакомка» Крамского! На шею либо колье, либо, вообразите, живая змея — дрессированный уж. По утрам в своем имени в одной рубашке прыгала на лошадь и носилась по полям. Однажды, когда Ходасевич сидел с книгой в комнате, выходящей на террасу, раздался вдруг чудовищный топот и в комнату Марина ввела любимую лошадь. Лихо?! Но главное, была феерически бесстыдной. «Приходит, бывало, на литературное собрание, — вспоминал очевидец, — идет прямо к



столу, в руках какая-нибудь орхидея, сбрасывает шубу и садится за стол голая, ну, совершенно нагишом!..»

И вот из-за такой — дуэль?

Да не с мужчиной — с женщиной?!

Записку на каком-то званом вечере ему передала пожилая дама. Он снял перчатки, шаркнул ножкой и прочел: «Вы угнетаете Марину. И бьете ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры...» И подпись — Мариэтта Шагинян.

Да, будущий автор праведных книг про Ленина и Маркса.

«Я сделал вид, — пишет поэт, — что не удивился: «Это серьезно?» — «Вполне», — ответила дама». Ходасевич знал Шагинян лишь в лицо, да и Рындина, кстати, не знала ее: та лишь принимала Марину экзотическими заявлениями о готовности защищать ее «до последней капли крови». Спрятав письмо, поэт поклонился секундантше: «Передайте, что я с барышнями не дерусь...» А месяца через три швейцар вручил ему букетик фиалок: «Занесла барышня, чернявенькая, глухая...» «Так, — пишет он, — мы помирились».

С тех пор Мариэтта, тогда сплошная «путаница» из всевозможных «измов» и действительно сносно фехтовавшая, годами будет жа-

леть поэта. «Ах, бедный Влади! Вы погибаете. Печально, но это так». «Погибал», потому что был «темен в делах религии», потом оттого, что не понял вторую часть «Фауста», потом — что не сделался «коммунистом». Спасала!

Но в главном оказалась права: поэт действительно погибал, всегда погибал.

Марина бросит его. Станет женой Маковского, редактора журнала «Аполлон». Доживет до 86 лет. А Ходасевич тогда же напишет матери: «Я плачу о женщине!.. Хочешь — признаюсь? Мне нужно... не много: только бы снова изведать ее поцелуй... снова воскликнуть: «Царевна! Царевна!» И услышать в ответ: «На всегда»...»

И тогда же напишет другу: «Женщина должна быть добрая!»

Он и найдет такую — мягкую и послушную, тихую, как мышь. Даже звать ее будет «мышкой». Она и станет второй женой его.

«Счастливый домик»

Все странно во втором браке поэта. Вторая жена его Нюта, красавица Анна Чулкова, сестра известного поэта Георгия Чулкова, не «встретилась» ему — подвернулась. Не было этого: увидели, обомлели, влюбились. Нет, знали друг друга сто лет. Она вообще была из их компании, переводила, печатала стихи под именем Софьи Бекетовой. Была, правда, замужем, родила сына, потом сошлась с одним другом Ходасевича — Диатроповым, следом — с другим, с Александром Брюсовым, братом поэта Валерия Брюсова...

Нюта была «а курсе» всех его романов, чуть ли не «конфиденткой» была, и вот вдруг как-то тихо сошлись. На долгих 11 лет! Напишет подруге: «Как пришла любовь — не знаю. Знаю, что люблю Владю очень как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о женщине как о чем-то низком...» И добавит: «Есть еще новость: научилась любить небо. Это большое счастье...» А он, крутя ей голову, аж на книге стихов с «говорящим» названием «Счастливый домик» напишет: «Спасибо за то, что он есть, за любовь, за небо и радость».

«Он» — это «счастливый домик», счастье их семейное. Хотя какое там счастье, если с первых дней она думала, как бы продать свой роля и на эти деньги кушнуть им с Владей кровать, стол и стулья. Если с первого месяца начались «печальности»: холодные компрессы на голову поэта, горячие грелки — к ногам. Не знала лишь, что такой теперь и будет ее жизнь. И что, бросив ее, он в последнем письме к ней перед бегством за границу с другой напишет: «Мы не для счастья сделаны...»

С Нютой-мышкой, переживает две катастрофы: одну личную и одну общую — октябрьский переворот. Мышкой будет звать потому, что, играя с сыном, она напела как-то детскую пе-



Не верю в красоту земную

*Не верю в красоту земную
И идеальной правды не хочу,
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.
По нежной плоти человеческой
Мой нож проводит*

алый жгут;

*Пусть мной целованные плечи
Опять крылами прорастут!*



ЗАПИСКУ НА ЗВАНОМ ВЕЧЕРЕ ЕМУ ПЕРЕДАЛА ПОЖИЛАЯ ДАМА. «ВЫ УГНЕТАЕТЕ МАРИНУ. И БЬЕТЕ ЕЕ. Я ВАС ВЫЗЫВАЮ. КАК ОРУЖИЕ ПРЕДЛАГАЮ РАПИРЫ...» И ПОДПИСЬ — МАРИЗТТА ШАГИНЯ



сенку: «Пляшут мышки вштером за стеною весело». С того дня и пошла эта игра. В день свадьбы они даже от праздничного широго отрезали кусок и сунули его за буфет, для настоящих мышат. Но я все думаю: если она были мышкой, то кто же в этой игре был котом? И в игре ли? Ведь это он будил жену по ночам лишь затем, чтобы она записала «придуманные» им только что стихи. И он останавливал ее на улице, чтобы за-





нести в блокнот пришедшую строфу: она для этого покорно подставляла ему спину.

А когда случилась катастрофа, подставила и руки, и плечи, и сердечко свое...

Неудачное падение мужа, сдвинулся позвонок, заковали в гипс, подвешивали, отправили в Крым. Носки сам не мог надеть — туберкулез позвоночника. Он и так «кожа, да кости», из болезней не вылезал. Спасала его как раз «мышка», которая стала ему нянькой, поводырем, сиделкой, уборщицей. Нет, странным был все-таки этот брак. Письма его к ней из Крыма читать невозможно: смесь сюсюканья и ярости. «Ты у меня хорошее и умное жи-

вотное, милый мыш», — заканчивает одно письмо. В другом пишет: «Спи, паршивый. Ешь, гадкий. Не кури, урод. Не волнуйся, волюнчий. Не бегай, как от кошки. Я тебя люблю».

Что ж, был таким, каким был. Злился, что любит, злился, что не любит. Но, может, оттого и писал дивные стихи?

«Счастливым домик» их рухнет. Рухнет от второй, главной катастрофы — от революции.

Бельэтажи и подвалы

Нюта напишет о тех днях: революцию принял «с огромной радостью... одним из первых... стал печататься в революционных газетах и журналах, за что многие из писателей на него шипели». В 1919-м он и сам скажет другу-поэту: «Что жизнь надобно перестроить, все согласны... Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком... Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью».

И прямо добавил: «Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подлю, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно...»

Пока же выживал. Читал лекции о Пушкине (за фунт повидла в неделю), работал в театральном отделе при Наркомпросе, заведовал московской конторой «Всемирной литературы» и даже вместе с Зайцевым, Осоргиним, Джигелевым торговал книгами в «самостийном» магазине, где Нюта, закутанная в бесчисленные платки поверх драной шубки, стояла за кассой. Насчет подвалов он обмолвился пророчески. В бельэтажах ему жить приходилось, а вот в подвале окажется впервые.

«Зиму провели ужасно, — вспоминал. — В полуподвальном этаже... в... маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). Стекла... на палец покрыты льдом... Таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей, чаем с сахарином».

Из-за бесчисленных нарывов (121 по точному счету), кои Нюта перевязывала и днем и ночью, поэт неделями сидел с забинтованными руками.

«Без жены, — напишет потом Надежда Мандельштам, — Ходасевич бы не вытянул. Она добывала пайки, приносила их, рубила дровешка, топила печку, стирала, варила, мыла больного Владека...» В итоге — приобрела туберкулез (его костный туберкулез потом, кстати, не подтвердится). Если сказать, что и деньги зарабатывала одна Нюта, то станут понятны слова подруги, что от усталости у нее «даже румина не держались» на щеках.



ВСЯКИЙ ИСТИННЫЙ ХУДОЖНИК, ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, КОНЕЧНО... ВЫРОДОК, СУЩЕСТВО, ВЫДЕЛЕННОЕ ИЗ СРЕДЫ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ...

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ



Путем зерна

*Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям,
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойди во мрак, умрет — и оживет она,
И ты, моя страна, и ты, се народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.*

*7
В. Ходасевич,
Собрание стихов,
1917 год.

*8
Ходасевич и Пушкин,
Дружеский шарж
Ю. Оболенской,
К. Кандаурова,
1920 год.

А у Ходасевича, может, тогда и мелькнула мысль о бегстве, об эмиграции. Ему было 35. Он еще не знал вкуса пепла во рту, как скажет потом Нина Берберова: «у меня вкус пепла во рту даже от рубленых котлет!».

Но пепел за спиной видел отчетливо — пепел в доме, стихов, любви.

Браслет из проволоки

На Невский выходило его окно на третьем этаже Дома искусств, откуда был виден весь проспект. На Невском же, но в доме сестер Нанпельбаум, где собиралась поэтиче-

шашке и длинной, чуть ли не до пят, шубе. «Я вас тут поджидаю, замеря, — говорит Ходасевич, — пойдемте греться. Не страшно бегать в такой темноте?»

И она пошла с ним — высоким, худым, и легким, и, несмотря на шубу, изящным. Пошла пить кофе.

Так запомнила встречу она. Он напишет иначе. Он действительно поджидал ее. Но на углу у «Астории» она на бегу запуталась в какой-то проволоке, и он стал ее распутывать. Кусок же проволоки — фаталист! — незаметно оторвал на память, а потом сделал из него браслет для нее. Красный — она носила его!



ская студия «Звучащая раковина», он впервые услышит стихи Нины Берберовой, этой звочки с расщелинкой в верхних зубах, безмяно волновавшей мужчин. Наконец, на Невском они пошли ночью пить кофе в какой-то подвальчик, «низок», когда впервые остались вдвоем.

В тот зимний вечер он банально подкараулил ее, когда она, в платке и в валенках, легла домой после занятий в Институте живописи. И вдруг на углу у «Астории» — крик с той стороны улицы: «Осторожно. Здесь скользко». «Из метели, — вспоминала, — появляется фигура в остроконечной котиковой

Наконец, после встречи Нового, 1922 года, она, опять же по Невскому, впервые пойдет к нему. Запомнит, как цепляясь друг за друга, шли в час ночи по скользкому, пьяному проспекту, и из каждого ресторана неслась модная тогда песенка: «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимы холода? У тебя нет теплого платочка-точка, У меня нет зимнего пальта!..» Запомнит, потому что в ту ночь и останется у него. «Мы... просидели до утра у его окна, — напишет. — Я почувствовала, что я стала не той, какой была. Мною были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мною не слышанные...»

*9
Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Сорренто на вилле Максима Горького.

А у Ходасевича тогда и появятся две последние задачи. Уцелеть и быть вместе. Или наоборот, напишет Нина: «быть вместе и уцелеть...»

А что же Нюта? А Нюта, как зомби, все еще врилась ему.

«Вернусь четверг или пятницу» — телеграфировал он жене, когда уехал с Ниной в Москву. Может, и вернется, хотя заграничные паспорта были у них с Ниной уже на руках. У него под номером 16, у нее — 17. Но Чулкова, не зная этого, получив телеграмму, два дня простояла у окна на 3-м этаже, надеясь первой увидеть Владю, едущего с вокзала. «В пятницу за этим занятием меня, — напишет, — застала Надя Павлович и сказала: «На-

прасно ждешь, он не приедет». Я показала телеграмму, но она повторила: «Он не приедет...»

И точно. Через два дня она получила письмо, написанное им с литовской границы. «Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения».

Уезжал к мирной, почти сытой жизни, показывал «нос» большевикам, в которых давно разочаровался, а любимой завещал, если хотите, только «небо» над головой, как когда-то. Нет, он будет писать ей, снова звать ее «человечком», криво подбадривать, что она «растет над собой», посылать по 10, по 15 долларов (тогда это были большие суммы), но кончится тем, что через пару лет, уже в Париже, вдруг попросит денег у Нюты — хоть немного. «Третьего дня, — напишет, — я остался без обеда...»

Так закончится эта любовь. Но закончится и любовь с Берберовой. Он, верящий в судьбу, в символы и знаки, может, впервые поймет это через пару лет, еще в Германии. Когда на Балтике Нина вдруг потеряет браслет. Тот самый — из проволоки. Кинется купаться в море — и потеряет. Плохой, ну очень плохой знак...

* 10

Валентина Ходасевич.
Портрет Владислава
Ходасевича. 1922 год.



НО ЗАКОНЧИТСЯ И ЛЮБОВЬ С БЕРБЕРОВОЙ. ОН, ВЕРЯЩИЙ В СУДЬБУ, В СИМВОЛЫ И ЗНАКИ, ПОЙМЕТ ЭТО, КОГДА НА БАЛТИКЕ НИНА ВДУРГ ПОТЕРЯЕТ БРАСЛЕТ. ТОТ САМЫЙ — ИЗ ПРОВОЛОКИ...



Перед зеркалом

*Я, я, я! Что за дикое слово!
Неужели вот тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишескую вкладывал прить, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем — так и всегда на середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — запутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.*



Распятие Поэта

«А не открыть ли газик?» — скажет он Берберовой в Париже в то утро, когда она будет уходить от него. Она боялась, что он убьет себя, но — все-таки ушла. Ушла «по правилам». Честно сказала, что уходит «ни к кому», наварила борща на три дня, перештопала носки. И все в их «цыганском быту» оставила ему. Мебель, лампу, чайник, даже вышитого петуха на чайник. На улице обернулась, навела свое окно на 4-м этаже. Поэт стоял в нем во весь рост в полосатой пижаме, и его руки, опиравшиеся на раму, показались ей распятием.

Был апрель 1932 года. Ровно десять лет назад (тик в тик), в апреле 1922 года, он и сказал Нине те слова: «уцелеть и быть вместе». Увы!

Сегодня на книжном базаре она известнее Ходасевича — факт. Но мы все больше узнаем о ней такого, что из памяти уже не вычеркнешь. «Во время оккупации Франции Берберова осталась в Париже, — пишет Роман Гуль, — и написала стихотворение о Гитлере, в котором сравнивала его с шекспировскими героями». Звала друзей сотрудничать с оккупантами, про немец говорила, что при них «наконец-то свободно дышится». А когда в 1989-м она посетит СССР, где мы ее едва на руках не носили, то, вернувшись в США, на вопрос Бродского, ну как-де, ответит: «Я смотрела на эту толпу, и думала: пулеметов бы сюда!». Он, тоже тогда не большой поклонник происходившего, не выдержит: «Нина Николаевна, нельзя же так!» — «Что нельзя?» — нахмурится она в ответ...

Ничего этого Ходасевич уже не узнает. Умрет за месяц до вступления немцев в Париж. Рядом с ним будет последняя его жена — Ольга Марголина, от которой через два года тоже останется один пепел: ее, еврейку, сожгут в концлагере как раз те, кого Нина восхваляла за «орднунг» — за порядок.

В последний час, умирая от рака печени, он, уже не зеленый даже — коричневый от боли, весивший 49 кг, с семью космами, с двухнедельной щетиной (зубов уже и не вставлял), дождавшись, когда жена его вышла на минуту, скажет Нине, заливаясь слезами: «Быть где-то и ничего не знать о тебе!. Только тебя люблю. Все время о тебе, днем и ночью. Ты же знаешь. Как я буду без тебя? Где я буду? Ну, все равно. Теперь прощай...»

Так пишет она. Верить — не верить? Не знаю. Свидетелей этому не было.



Всё не случайно в жизни поэтов. Через три года кладбище, где зарыли его, разбомбит англичане. Вывороченная земля, ни одной целой могилы: зияющие дыры, треснувшие памятники, ангелы с отбитыми крыльями. Нетронутой окажется лишь могила поэта. 30 порушенных надгробий и среди них — его крест. Тоже распятие. Распятие — над гибелью. Всё правильно, так и должно было быть, ибо поэзия и поэты — бессмертны. Только почему, когда я читаю стихи его, мне всё кажется, что на зубах моих скрипит пепел, горький на вкус пепел потерн?

Памятник

*Во мне конец, во мне начало.
Мной совершено так мало!
Но всё ж я прочное звано:
Мне это счастье дано,
В России новой, но всликой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...*

*11
Поэт с последней женой Ольгой Марголиной. 1936 год.